

ЛИБРЕТТО

Это всего лишь идея. Если она тебя заинтересует, найдешь человека, который сочинит настоящее балетное либретто. А я помогала бы ему: отвечала бы на вопросы, которые у него могут возникать.

Действие первое. Конец шестидесятых. Мастерская художника-неудачника. Темный, неуютный подвал. По углам – подтеки сырости (это можно сделать очень красиво). Вдоль стен несколько труб пугающего вида... Ну и картины, конечно. Часть висит, часть стоит на полу. Холсты, пустые рамы. Двустворчатая дверь невиданных размеров. Два придавленных к потолку окошка. Плоскости облупленных подоконников точно совпадают с плоскостью тротуара. Мимо окон движутся ноги. Представляешь, в окошке – танцующие ноги. Маленькие сценки для ног! Посреди комнаты стоит низенький скульптурный станок, а на нем – статуя, гораздо выше человеческого роста. Не надо пугаться. Все это технически не так сложно. Станочек можно заказать в худфонде. Такой, чтобы совершенно свободно крутился. А статую за очень небольшие деньги вылепит из глины студент скульптурного факультета. Главное – найти мастера, который отольет ее из пенопласта. Она должна быть разборной и совершенно невесомой. Для безопасности. Это не просто реквизит, а одно из главных действующих лиц. С нею будут танцевать – не вокруг нее, а с ней. Ее будут раскручивать... Тут вообще полдела – вылепить удачную фигуру. Обнаженная женщина, идущая против ветра. Она должна быть сделана так, чтобы в разных поворотах выглядеть совершенно по-разному: то бурно наступающей, то удирающей в отчаянии. А в целом – нечто возвышенное и одновременно смешное... Лучше всего было бы комично воспроизвести ту статую, которую я имею в виду. Это статуя, сделанная когда-то моим учителем.

Мой учитель... Если в нем и было что-то смешное – так это его постоянное стремление преодолеть свой маленький рост. Каблуками. Духом. Интеллектом. Еще у него были совершенно немужские глаза – круглые. Ресницы темные, густые, что сверху, что снизу – глаза ребенка, который ждет, что его сейчас ударят, но не в состоянии хоть как-то себя защитить, даже сощуриться. А так – черты вполне мужественные, правильные. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не лысина и не щетина, которая вырастала за полдня. Казалось, она лезет из него от чрезмерного вдохновения. От этой-то щетины и возникало ощущение некоторой запущенности и бездомности. Он был одним из тех людей, которые относятся к своему телу, как к одолженной одежде или комнате в общежитии. К тому же у него вечно что-нибудь болело. Он это тщательно скрывал, только иногда кривился. Все это для нас, девочек романтического возраста, было даже привлекательным. Кстати, никогда он не был ни бездомным, ни запущенным. Аккуратен был невероятно, и мастерская у него была самая чистая из всех, какие мне доводилось видеть. Она находилась чуть наискосок от Совета Министров. Улицы там помпезные, хотя и узкие. Колонны, серый гранит... А он идет такой маленький, всему враждебный, пугливый, высокомерный... рыхленькая меховая шапка пирожком, серое двадцатилетней выдержки пальтишко... Но – наглаженное.

Да. Так вот он идет – еще издали, издали начинает готовить себя к работе, раскаляется... Ноздри прижаты, дергаются, губы стиснуты, кулаки распирают карманы... Приближаясь к своей мастерской, он весь накрывается от нетерпеливого вдохновения и броском сворачивает в пустой, холодный подъезд. Есть там такие грандиозные подъезды – настоящие туннели. Пики на воротах, полумертвые двory, оплесневелые подвальные ступени... Он спускается в свою яму, глубокую и сырую, как только что высохший колодец, оберегая от ссадин ботинки и нетерпеливо звеня ключами – а там внизу какая-нибудь дохлая крыса... или еще что похуже.

Но это все не для сцены. Прежде всего таких маленьких танцоров не бывает. И все эти небритости и дрожащие ноздри из зала не видны. Пусть наш герой – назовем его... Маэстро – будет тощим и сутулым, со смешной бородкой, с остатками негустых длинных волос, теснимых интеллигентской лысиной. И, пожалуй, оставим ему круглые глаза, обведенные густыми ресницами.

Теперь наряд. Неуклюжие, широченные джинсы, мешковато присобранные ремнем на талии. Растянутый свитер крупной вязки, клетчатая ковбойка без пуговицы на рукаве. Из верхней одежды – серенький беретик и тяжеленное темносинее пальто пятидесятых годов – с "плечами" и огромными пуговицами.

Теперь о музыке. Тут, конечно, решать композитору. Лично я ввела бы несколько всем известных музыкальных тем – возможно, даже всю вещь составила бы из комических транскрипций. Для Маэстро настойчиво предлагаю использовать самую известную тему Вагнера – "Полет валькирий".

Эта тема очень красива, величественна – причем, искажая ее, не чувствуешь себя святотатцем. Возможно, потому, что накал ее вдохновения почти чрезмерен, слишком близко подходит к грани, за которой начинается пародия. А это и есть суть Маэстро. К тому же эта тема легко меняет интонации и акцент, сливается с другими мелодиями и механическими шумами, ловко вытекает из них и всегда остается узнаваемой.

Итак, мастерская художника. Утро. Свет в комнату проникает сквозь мутные окошки. Сначала в одном, а потом в другом возникают валенки дворника и его огромная коричневая метла. Дворник метет мусор прямо на стекла Маэстро. Солидный гражданин в очках и с авторучкой в кармане наклоняется. Недовольно сощурясь, изучает помещение и, не заинтересовавшись, проходит мимо.

Периодически что-то рычит в одной из труб. В другой – изредка что-то грохочет. Где-то с неумолимой монотонностью ударяет о жест тяжелая капля. Постепенно все эти звуки начинают объединяться в мелодию. Оркестр звучит негромко, слабо, как бы издали, напоминает о себе тема валькирий.

Неуклюжий грохоток за дверь. Звяканье ключей. Толчки боком в дверь. Вваливается Маэстро, застывает на пороге. Смотрит на статую, накрытую старыми простынями и разным менее приличным тряпьем. Не отрывая глаз от своего детища, снимает пальто и вешает его на крючок. Крючок вываливается из стены, пальто опускается на пол. Не замечая этого, Маэстро набрасывает на предполагаемый крючок и свой берет...

Начинается большой сольный танец: Маэстро срывает тряпки со статуи. Романтический полет дырявых грязных тканей. Далее изображается процесс работы. Маэстро то благоговейно отдаляется от статуи, то судорожно бросается к ней и что-то поправляет огромным стеклом. Он трудно дышит, как бы распаяя в себе вдохновение, а тема валькирий в оркестре разрастается до полного комизма. Маэстро танцует "па-де-де со статуей". То бережно, то резко поворачивает ее в разные стороны, повторяет ее позу, образует с нею всевозможные композиции.

Затем идут вставные номера. Появляются разные посетители, так или иначе мешающие "творческому процессу".

На лестнице раздается грозный топот. Вваливается пожарник. Ему не нравится, что в помещении слишком много бумаги (рисунки), сухого дерева (рамы), взрывоопасных веществ (разбавители). Напрасно Маэстро пытается ему что-то объяснить. Пожарник неумолим. Он, несомненно, закрыл бы мастерскую, не пояись вовремя Друг Маэстро – резонер, крепко стоящий на ногах, выручающий Маэстро в сложных ситуациях. Друг высоко ценит талант Маэстро и ведет себя с ним, как с бестолковым ребенком. С помощью бутылки он легко очаровывает пожарника, и тот, желая сделать хозяину приятное, на прощанье одобрительно

хлопает статую по мощной ягодице, оскорбляя Маэстро в самых его возвышенных чувствах. Выпроводив пожарника, Друг сосредоточивает свое внимание на статуе. Он начинает с неумеренного восхищения, но под конец находит в статуе мелкий изъян. Маэстро расстроен. Он защищается, спорит. Но как только Друг уходит, принимается скоблить резцом указанное место – какой-нибудь локоть или голень... И в следующей картине этой голени уже не будет. Вместо нее останется чернеющий железный прутик каркаса. (Таких съемных деталей будет несколько, и отсутствие любой из них должно создавать комический эффект).

Следующий вводный номер – санинспекция. Легонькая, как мотылек, девушка в белом халате порхает по мастерской Маэстро, возмущенно указуя на пятна сырости, на сомнительные трубы, прогнившие половицы, извлекает откуда-то огромный бледный гриб. От каждого ее эфирного прикосновения что-нибудь с тяжелым грохотом отваливается, и мастерская приобретает все более антисанитарный вид. Маэстро умоляет суровую защитницу его здоровья не опечатывать мастерскую. Но та непреклонна. Выручает Маэстро появление потревоженной крысы. Или, может, ввести даже танец крыс, изгоняющих санинспекторшу. Сшить их из серого плюша, укрепить на прозрачных шнурах, с помощью которых из-за кулис управлять ими в такт Вагнеру.

Все это – и сырость, и крысы, и грибы – были обычными атрибутами творчества. Только такие подвалы и доставались художникам. А если вдруг попадалась комната попримечнее, ее тут же отбивала какая-нибудь контора. Моего бедного учителя переселяли раз пять из подвала в подвал – каждый, разумеется, хуже предыдущего. Меня тоже переселяли дважды. А чаще всего людей просто выставляли на улицу.

Только, бывало, отскоблишь какое-нибудь подземелье – сразу невесть откуда возникает официальная рожа. Нагибается к окну, рука щитком... А ты стоишь и не понимаешь, как себя вести. Тебя как бы и нет. Потом они заявляются с дворником и техником-смотрителем. Ходят, оставляют на полу грязные следы, заглядывают в закутки, отодвигают твои вещи... Тебя не видят, не слышат... хоть голый стой... Это уж потом худфонд начал строить специальные мастерские. И то для самых заслуженных.

Наш учитель к таковым не принадлежал. Хотя вообще-то он был святейшим реалистом. Я, помню, просто испугалась, когда увидела его ранние работы. Некое безвоздушное пространство... Каменные лица такого... желтовато-телесного цвета... с коричневыми тенями... очень крепко и правильно нарисованные. Что-то там было от Моралеса. Я сейчас думаю: туда бы какую-нибудь детальку... перевернутую свечку... жучка на ниточке... Эти картины зажили бы и сошли за самый мрачный "сюр". Дама, которая училась с ним на последнем курсе, говорила, что даже отпетые соцреалисты считали его реализм чрезмерным. Оно бы, может, и сошло, если бы он, как и все вокруг, изображал каких-нибудь крестьян в процессе радостного труда. Рабочих перед мартемом. Или хотя бы заслуженную учительницу с кружевной манишкой. А он выискивал каких-то сомнительных интеллигентов, чахоточных недоучек. Где он только брал таких?!

Разумеется, он ничего не зарабатывал. Его содержала мать. Безграмотная. Из тех, что становятся старушками лет в тридцать. Где-то она трудилась при медицине, в какой-то привилегированной больнице. Это было очень кстати: наш учитель с самого детства болел. То ревматизм, то сердце, то почки. И мать имела возможность показывать его лучшим специалистам. Так он сблизился с профессором Эйдельбергом. Профессор вообще был человеком отзывчивым. А тут – способный мальчик, ровесник его собственных детей, болезненный, неудачник, отец погиб на фронте... Он ввел его в свой дом. Среди пациентов профессора было много людей известных, и некоторые из них согласились попозировать молодому дарованию. О том, чтобы явиться к народному артисту СССР с мольбертом и масляными красками, не могло быть и речи. Таким образом, он на время забросил свою

мыльно-восковую живопись. Рисовал на больших листах подтонированной бумаги сангиной и углем. Эти черно-рыжие портреты – он их штук сто наплодил! – были идеально грамотны, передавали сходство безукоризненно, до испуга.

Эйдельберг организовал выставку его работ в Доме медиков и даже выбил ему мастерскую. Ту самую, куда мы ходили заниматься. У меня до сих пор замирает сердце, когда прохожу мимо.

Там в переулках страшные сквозняки... Помню, однажды зимой ветер вырвал из моих рук папку... ее гнало, раскрытую, по льду, и оттуда вылетали рисунки. Часть из них удалось поймать почти сразу, а другие понесло на площадь – и вверх. Они бились высоко, между колоннами, прилипали к гранитным плитам... Один портрет так и не нашелся, и он все мерещится мне в темноте, под порталом, белый лист... Я была страшно огорчена: мне казалось, что этот портрет моему учителю должен особенно понравиться. Господи! Что тогда значила для нас его похвала! Это щедрое: "Вы знаете – я бы так не сделал!" Или: "Эта Ваша совершенно особая техника!" Или совсем уж: "Хочу с Вами посоветоваться. Как Вы считаете..." Он великодушно внушал своим ученикам, что и сам у них чему-то учится. Отчасти это была правда: иногда, объясняя нам какую-нибудь простую вещь, он будто прорывался сквозь давно мешавшую ему преграду.

В ту смурную осень, когда мы познакомились с ним, он как раз вернулся к живописи. Картин было еще мало – пять-шесть натюрмортов, пугающе нелепых и по письму, и по цвету, но зато – как он говорил о цвете, о технике письма, об утрированной выразительности! Гибкая, изящная линия приводила его в бешенство, он заставлял нас превращать любой круг в многоугольник, и все повторял: "Больше характера, больше энергии! Без дамских штучек!" И мы буквально пропарывали бумагу карандашами. И тоже напрягали ноздри, сжимали губы – только что не лезла щетина.

Ученицы... Очень выигрышно для кордебалета. Молоденькие девочки, трогательно-вызывающие прически, шейные платочки и прочие претензии на богемность. Яркие картонные папки. Рисунки. По-моему, танец с большим белым листом – это необыкновенно красиво! Вот идет урок... Маэстро что-то объясняет ученицам, затем танцует адажио с каждой по очереди, с каждой по-особому. И листы, листы, трепещущее мелькание белых квадратов бумаги! Или такое: просмотр домашних работ. Девочки раскладывают рисунки на полу и танцуют между ними... Разные реакции на похвалу, на замечание. Ревность...

Он тоже уважает их. Он советуется с ними. Сбрасывает покровы со своей статуи, и ученицы приходят в благоговейный восторг. Они движутся, повторяя позу статуи. Их тема в оркестре – те же "валькирии", но наивно воспроизведенные скрипками и флейтами. Кульминация – танцует Маэстро, танцуют девочки, вертится статуя!

Вдруг Маэстро замечает нечто необыкновенное в форме ноги, или руки, или носа одной из учениц. Он внимательно изучает эту деталь. Затем отводит девочку на подиум, и она принимает позу статуи. Маэстро начинает переделывать эту самую ногу или шею. Естественно, в начале следующей сцены статуя окажется без вышеуказанной детали.

Следующая сцена... Снова утро. Снова пальто на полу. Маэстро не работается. У Маэстро болит поясница. Он пытается себя завести. С большим трудом преодолевает апатию. Музыка натужно набирает мощь. Стук в дверь. Маэстро идет открывать, не ожидая ничего хорошего. Но это Мать – сутуленькая, колченогая, в платочке и очках. Она принесла в миске картошку с котлетами.

Тема матери – надрывная песенка в духе еврейского местечкового фольклора.

Маэстро не до еды. Но так уж и быть – он продолжает свой вдохновенный танец с котлетой на вилке. Мать плачет, причитает: сын худой! неухоженный! денег нет! Она достает мелочь из всех карманов и выворачивает их, дабы показать, что это последнее. Она хочет качать внуков. Она не понимает, зачем ему такая большая статуя. И в придачу – голая! Маэстро объясняет с жаром и раздражением. Старуха пытается понять. Оркестр, как бы ее голосом, начинает воспроизводить "Валькирий", однако акцент у музыки явно народный, а интонация вопросительная. Мать танцует, ковыляя и семеня, тоже пытаюсь воспроизвести позу статуи. Уходит.

Снова радикулит на музыку Вагнера.

В форточку заглядывает Друг. Он привел важных посетителей. В окошке видны их богатые ноги. Знаменитый деятель и его жена. Вся в песцах и бриллиантах. Деятель сурово изучает работы Маэстро. Неожиданно для самого Деятеля работы ему нравятся. А за ним – и его жене. Маэстро теряет голову от счастья. Друг потирает руки, подмигивает из-за спины гостя.

Гость тщательно изучает картины. Выбирает одну и начинает неумеренно восхищаться ею. Лезет в карман. Достает деньги. "Деньги" слишком большие, размером с полотенце. Деятель с неодобрением рассматривает их и возвращает обратно в карман. Ищет в другом кармане – там оказывается купюра еще крупнее первой. В третьем кармане обнаруживается носовой платок – Деятель сморкается, в четвертом – расческа. Он причесывает свои классические седины. В пятом нет ничего. Деятель очень огорчен. И напрасно. Великодушному Маэстро совсем не нужны от него деньги. Маэстро дарит картину гостю. Тот смущенно отказывается – и принимает с благодарностью. Его расхоронившаяся жена выбирает еще одну картину – побольше. Маэстро дарит и эту, игнорируя гримасы и тайные знаки раздосадованного Друга. Друг почтительно провожает гостей. Слышно, как отъезжает машина. Друг возвращается. Он в бешенстве. Маэстро не разделяет его чувств: подумаешь, картинка. Статуя – вот дело его жизни!

В следующей сцене статуя, уже отлитая в гипсе и затонированная, стоит самым эффектным образом. Все детали на месте. Маэстро подметает. Пытается приставить к оголившейся дранке куски штукатурки. Страхивает со стульев и дивана пыль, ногами отгребает в стороны бумажные горы... Вот-вот появится Художественный Совет.

Слышно, как за окном тяжело тормозит автобус. Зловещий топот на лестнице – необъяснимо громкий, необъяснимо долгий. Деятели культуры, не пугаясь беспорядка, уверенно занимают все свободное пространство. Музыка смолкает. Немая сцена. Все вдумчиво изучают статую. Кто – откинувшись назад, кто – искоса, кто – исподлобья... Некоторые уставились в собственные туфли, кое-кто – в бумаги. Общее выражение лиц определению не поддается. Это как бы трамплин для чего угодно – от восторга до возмущения.

Председатель Художественного Совета – статная дама, полная, в строгом костюме, с лауреатским значком и недовольной гримасой. Она долго стоит в неподвижности, но, наконец, подает скупые признаки жизни. Легкий наклон головы... едва заметное подергивание плеч, губ... Вся публика повторяет ее движения, десятикратно их утрируя; при этом никак не становится понятно, понравилась ли ей – а, следовательно, и всем остальным – статуя. Мотив "валькирий" снова возникает, неуверенно разрастается, в нем звучит нечто вопросительное... пренебрежительное... и, наконец, возмущенное!

Начинаются "половецкие пляски" Художественного Совета. Деятели культуры по очереди танцуют со статуей, выражая свое остро-негативное к ней отношение. Тощий скульптор со шкиперской бородой и сединами, напоминающими одуванчик, указывает на ошибки в пропорциях. Усатый парторг поводит опущенной головой, и кажется: он один видит нечто скрытое от других и тем особенно опасное. Некто драненький, с жидкими прядями длинных волос, не понимает, зачем вообще статуя сделана и что автор имел в виду. Музыка

при этом идет по кругу, будто заело пластинку. Патлатая искусствоведка видит в статуе порнографию. Длинная, лишенная возраста секретарша со свалывшимся перманентом все записывает.

Царственная дама-классик оживает, изумленная столь неумеренными эмоциями. Она, оказывается, вовсе не считала статую такой уж плохой, тем более – вредной. Правда, над ней нужно еще работать и работать.

С вагнеровским топотом Совет покидает мастерскую. Кое-кто, на ходу остывая, задерживается, чтобы дать Маэстро ценный совет. Искусствоведка особенно добросердечна: она вытягивает из кучи хлама простыню и сооружает на статуе нечто вроде греческой туники. Довольная таким решением нравственной проблемы, удаляется.

Оставшись в одиночестве, Маэстро бросается на статую с кулаками, отыскивает молоток, замахивается...

Появляется Друг. Задумчиво ходит вокруг статуи. Идея с драпировкой не кажется ему такой уж абсурдной. Так даже больше экспрессии. Маэстро срывает со статуи тряпку и бросается на диван.

Входит мать – с бутербродом и кружкой компота. Под мышкой у нее сверток.

Маэстро переживает лицом к стене и есть отказывается. Мать что-то смущенно шепчет Другу. У нее тоже идея, как сделать статую более приличной. Мать вытаскивает из свертка сатиновые трусы невиданных размеров и веревочкой прикрепляет к статуе. Затем извлекает из пакета огромную майку и теннисную ракетку. Пристыженный Друг быстро отцепляет трусы и весь этот инвентарь сует обратно в пакет.

Ей-богу, я тут почти не преувеличиваю. Примерно так и было с моим учителем. Конечно, дети в художественной школе рисовали обнаженную натуру. Но выставки тех лет "красоту человеческого тела" не пропагандировали. В крайнем случае – ноги гимнастки или грудь кормящей колхозницы. И вдруг на выставком привозят обнаженную женщину, вдобавок – махину под три метра! Там очень много всего наслоилось... Добро бы – какой-нибудь академик позволил себе. А тут – несчастный задохлик со своей больничной щетиной, со своими детскими ресницами и стиснутым ртом тайного гения. Его бы никто не знал, если бы он не готовил детей в институт. И готовил, надо сказать, неплохо. К тому же мало брал за уроки, особенно со знакомых. Иногда мог и вовсе отказаться от оплаты. А ведь у каждого подрастал талантливый сын или племянник, так что относились к нему уважительно, даже несколько подобострастно – как к Учителю. Но не как к Художнику. И вдруг он выбрасывает такой фокус! Это ведь ко всему еще и очень дорого – каркас, прокладка, отливка! Ни с кем не согласована, никто не заказывал... Массивная баба-богатырь. И вид такой: будто ее в зал не пускали, а она всех раскидала и ворвалась! Называлась она – "Преодоление". Как ни странно, ее приняли на выставку – хотя и с большим скандалом. Бедный мой Учитель считал, что он победил, прорвался в высокое искусство...

Еще не кончилась хрущевская оттепель. Во всем чудились дерзновенные намеки. "Преодоление"... Чего? Ну, допустим, себя, жизненной рутины. Но все были так настроены на политику... Самое забавное, что он на то и намекал, рвался, так сказать, в ряды борцов за правду. Человек он был очень робкий, но всю жизнь ломал себя. Мне рассказывали, что он еще в художественной школе нажил себе первого врага. Их директор написал картину, которая сильно смахивала на "Осаду Бреды". И вот ему на каком-то экзамене по истории искусства педагог показывает репродукцию с Веласкеса и спрашивает, кто автор. А он возьми да и брякни: "Геннадий Савельевич Блинов!"

Представляю себе его отчаянную физиономию... "Преодоле!" Но зачем?! И шутка была всем известная, и не им придуманная. А тот старый козел мелко мстил ему всю жизнь...

Однажды я сама была свидетельницей такого его "героизма". Как-то мы случайно встретились в городе, и он прихватил меня на открытие большой выставки. Я еще училась в

школе. И вот подходит ко мне здоровенный дядька, довольно известный скульптор, совершенно пьяный. Начинает по-хорошему: что у меня горошки на платье точно такого же цвета, как глаза, и что камыш я держу нарочно, чтобы всем хотелось меня рисовать... После чего спокойно вытаскивает этот камыш у меня из рук и вручает его одной из главных наших ваятельниц. Ты бы видел, с каким лицом мой учитель последовал за ним и потребовал у дамы мой камыш! А как он шел обратно! Я онемела от страха: думала, тот верзила его догонит и пришибет. Так бы оно и было, если бы дамы не удержали.

Да господи! Ты бы посмотрел самую обычную сцену: как этот человек выходил на улицу... Как он щурил глаза, как он решительным толчком открывал дверь парадного! Гладиатор, выходящий на арену...

Да, так вот эта статуя – "Преодоление"... Формально там не к чему было придраться: самый дотошный реализм, каждая косточка на месте. Кроме того, все понимали, что он влез в долги. Короче, ее взяли. Но так уж она была не ко двору...

Не знаю точно, как это произошло, но только она простояла всего пару дней. Вроде бы какие-то занавеси поправляли. Это просто мистика! Она была очень устойчива... Такой массивный кусок скалы под ногами! Конечно же, никто не сделал это нарочно.

Как бы для компенсации его тут же приняли в Союз художников. В то время это было все равно, что получить титул лорда. Но приняли в секцию живописи. То есть как бы: на, бери, только скульптурой больше не занимайся. Будешь считаться живописцем...

Именно после этого в его живописи произошел резкий перелом к лучшему. Не знаю, было это совпадение – или он почувствовал себя увереннее? Многие полагали, что от природы он не был одарен ни чувством цвета, ни артистизмом письма. Еще ему страшно мешала гениальная способность изобразить любой предмет в любом ракурсе с точностью фотоаппарата. Но он и тут преодолел свою натуру. Нашел для себя эффектную технику. Что-то добавлял в краски: не то тырсу, не то корпию. Получалось нечто еще более бугристое, чем у Моне, вдобавок очень яркое и контрастное. Каждая его картина – это было как бы решение задачи из трех ярких пятен. Он писал, будто выдавливая из себя всю энергию, как выдавливают из тюбика последнюю краску! И в какой-то момент у него стали получаться красивые и значительные вещи.

Чем лучше он писал, тем больше его ругали – пока совсем не перестали брать картины на выставки. Правда, появились неофициальные поклонники, которые пытались как-то ему помочь. Водили к нему известных людей – в надежде на то, что те купят картины. Иногда покупали, но чаще он их дарил. Сцена с дамой в мехах и бриллиантах списана с натуры. Только о деньгах они даже не заикались. Классик рассказал моему Учителю, что у него в гостиной висят картины, подаренные Гуттузо и Пикассо. Господи! Висеть рядом с Пикассо! Да мой учитель готов был еще и доплатить за такую честь! И не слишком он ценил свои картины... Он говорил, что это прелюдии и фуги. А вот статуя – симфония! Дело всей его жизни. Он уложил кучу денег на то, чтобы ее восстановить. Все улучшал и улучшал... Хуже она не становилась, но... Боюсь, что такая страсть убивает жизнь. Наверно, нельзя ставить перед собой такую цель: создать нечто, достойное занять место между "Венерой Милосской" и "Джокондой". Кстати, это тоже можно включить в балет...

Маэстро созерцает свою статую, лежа на диване. Грезит. На сцене, одна за другой, появляются "Джоконда", "Инфанта Маргарита", "Весна" Боттичелли, "Флора" Рембрандта, "Донна Велата" Рафаэля и прочие. Они танцуют вокруг статуи, по очереди становятся рядом с ней, предоставляя остальным решать, кто лучше. В какой-то момент готовы даже преклонить перед ней колени...

В оркестре слышится тема матери. Красавицы тут же исчезают. Мать входит со стаканом чая и куском хлеба. Снова выворачивает карманы: на этот раз денег нет совсем.

Так и танцует – с вывернутыми карманами. Горестно раскачивается. Умоляет сына взяться за ум. Жениться. Завести детей. Выбросить дурацкий берет и купить шляпу.

Измученный Маэстро сдается. Тут же в комнате появляется стоявшая за дверью сваха, крупная и решительная дама. Не мешкая, она достает из сумки "картотеку" – большой рассыпающийся блокнот, выбирает подходящую невесту и исполняет короткий танец, восхваляющий ее прелести. При этом она использует как наглядное пособие то себя, то статую, то самого Маэстро.

Маэстро наряжают в костюм с галстуком. Чистят, прилизывают и выводят: мать тащит под руку, сваха подталкивает сзади. В оркестре еврейская песенка теснит упирающихся "Валькирий".

Следующая картина. Сцена изображает богатый еврейский дом. На стене – ковер с оленями, над ковром – два портрета: бабушка и дедушка в молодости. В углу фикус, на столе – огромная, как фонтан, хрустальная ваза.

Маэстро встречают с чрезвычайным радушием. Ни лысина, ни рост никого не смущают. У него есть самое важное для этой семьи достоинство: он – жених.

Мелодии в стиле еврейских свадебных песенок исполняются с симфоническим размахом. Ударные имитируют гром кастрюль и звон столовой посуды. Родственники невесты тащат Маэстро каждый в свою сторону. Мать открывает перед ним переполненный холодильник, отец включает телевизор, бабка толкует что-то про фикус. Наконец, открывается дверь: невеста входит.

Ее должен играть мужчина, как можно более крупный. Ему надо приделать огромный бюст и зад; хорошо бы как-нибудь устроить толстые ноги. При этом личико должно быть вполне милостивым. У невесты пышные длинные кудри. На ней сильно приталенное бордовое платье с большим вырезом, на груди брошка, на спине – бантик, на руке – часы. На ногах чулки с черным швом и резинками, которые во время танцев будут часто видны. Все вместе – триумф сочной перезрелости. Она добродушна и скромна, глаза с накладными ресницами по большей части потуплены. За ее спиной хлопочет и волнуется младшая сестренка – уже не школьница, но еще с косичками.

Невеста здоровается с Маэстро за руку, ручка ее скрючена от смущения. Их усаживают на диване. Маэстро мается, невеста редко моргает.

Родственники возобновляют экономические пляски. Отец танцует с цигейковой шубой, мать с чернобурковой шапкой, бабка тащит шерстяную кофту, сваха волочит приемник "Спидола" – и так далее. Все это в конце концов начинают набрасывать на невесту или сваливать у ее ног. Невесты почти не видно. Сестренка хочет внести свою лепту: она старается заинтересовать жениха книгами. Вот собрание сочинений Ибсена. А это – Гоголя. Затем она приволакивает из другой комнаты старого пинчера, толстого, как свинья. Ищет, что бы еще показать. Ах, вот же: скрипка! Невесту высвобождают из-под кофт и пальто. Она берет скрипочку и почти без ошибок, очень жалобно исполняет "Элегию" Массне.

Маэстро благодарит, целует ручку. Окрыленная невеста ненавязчиво втягивает его в танец. Обращается она с Маэстро очень нежно и осторожно. Поддерживает его, раскручивает, даже поднимает над головой. Растерянный Маэстро покорно исполняет изящные арабески.

Сваха хочет разбить тарелку, но тарелка из сервиза. Приносят тарелку попроще. Разбивают. Разливают по рюмкам наливку. Маэстро отказывается пить. Его заставляют. Отец невесты обнимает гостя за плечи, с чувством подливает еще и еще. В оркестре называют "Валькирии" – в алкогольном варианте. Маэстро расходится. Он рассказывает о своей гениальной статуе. Сам принимает ее позу. Заставляет делать то же других. У сконфуженной невесты он не находит должного отклика. К тому же постепенно становится ясно, что она не очень его интересуется. Зато неожиданно обнаруживается полное взаимопонимание с младшей сестрой. Их романтический дуэт завершается скандалом.

Скоропостижно влюбленных растаскивают в разные стороны. Девочка еще очень молода и пока что может рассчитывать на супруга без столь серьезных дефектов.

Расстроенная невеста согласна на любой исход. Она готова остаться старой девой, лишь бы все скорее помирились. Но отец непреклонен, а сестра, как внезапно выяснилось, дерзка и своенравна: она не собирается отказываться от своего счастья.

Следующая сцена – снова мастерская, но чудесно преображенная. Сияют вымытые стекла и белоснежные подоконники. Комната выглядит значительно светлее и даже просторнее. Нет больше пугающих завалов, наводящих на мысли о змеях и крысах. Вещи разобраны, разбавители и коробки с красками разложены на специальной полочке, а не на полу, не на стульях и не на диване. Исчезло обесцвеченное пылью тряпье. На мольберте – холст с начатым натюрмортом. Картины составлены аккуратными рядками, рисунки сложены стопками. Трубы живописно задрапированы цветастым ситчиком и напоминают о себе лишь грохотом сливаемой воды и падающего мусора. Ситчик заодно служит фоном для деревенского глечика, тыквы, сухого подсолнуха, составленных на деревянном столике. Рядом, на низком широком подиуме, в "ключевой" для этого балета позе, вдохновенно замерла юная жена Маэстро. Маэстро (все пуговицы теперь у него на месте, а рубаша и джинсы значительно посветлели) трудится над своим грандиозным детищем – наводит последний лоск. "Преодоление" выглядит как-то приятнее и легче (этого эффекта можно достичь с помощью особого освещения).

Юная супруга начинает свой танец на подиуме. Маэстро спускает ее на пол. Далее разворачивается "большой любовно-романтический дуэт". Причем Она не забывает на ходу то протереть что-нибудь тряпкой, то подмахнуть веничком. Несколько нарушает общую гармонию то, что Маэстро старается включить в танец свое творение. Статуя не вполне вписывается в новое положение вещей. Теперь в ее динамике мерещится нечто неуместное – что-то вроде агрессивного соперничества.

Один за другим появляются пожарник и санинспекторша. Прелестная хозяйка легко их очаровывает. Видно, как дворник метет тротуар, стараясь не пылить в окна. Гражданин в очках и с авторучкой в кармане наклоняется и одобрительно кивает, оглядывая подвал.

Знакомый рев автобуса... топот на лестнице. Появляется Художественный Совет. В центре всеобщего внимания – жена Маэстро, будто Совет собрался ради того, чтобы вынести оценку именно ей. Маэстро искренне поздравляют. Между прочим, великодушно одобряют и статую. Она принята на выставку.

Апофеоз счастья! Танцуют все, вместе и по очереди. Маэстро и его жена, Друг, Мать с огромным носовым платком. Дожила, дожила до такого дня! Статую оплетают ремнями и под нарастающего Вагнера (несколько искаженного еврейским трепетом за сохранность и вкраплениями "Дубинушки") начинают двигать в сторону двери, распахнутой на обе створки...

Следующая картина – мастерская без статуи. Молодожены и старуха-мать строят планы. Все вдруг заметили, что вещи на них и вокруг них – ветхие и старомодные.

Маэстро с отвращением толкает расшатанный старый мольберт. Супруга брезгливо приподнимает двумя пальцами рукав темносинего пальто. Мать мечтает, как она будет ошипывать и смолить вот такую курицу! Нет! Во-о-от такого индюка! И еще сыну нужна шляпа, а невестке – шуба. (Все эти предметы, спущенные на нитках, витают над сценой).

Появляются ученицы. У каждой в руке – газета. Каждая читает вслух отрывок из статьи, где говорится о Маэстро. При этом в оркестре повторяется одна и та же музыкальная фраза, исполняемая по очереди разными инструментами.

Начинается урок. Жена Маэстро позирует. Маэстро исправляет ошибки, подсказывает, хвалит учениц. Маэстро и ученицы попеременно восхищаются моделью. При этом некоторые из них, укрывшись за своими рисунками, плачут от ревности...

Жена учителя... Сразу скажу: лично я не ревновала. К моменту нашего знакомства мой учитель был уже женат. История этого брака описана мною верно, за исключением колорита и всех деталей. Семья была самая обыкновенная. Скорее бедная, чем богатая. Старшая сестра – ничем не примечательная инженерша. Не было никакой свахи. Была общая знакомая. Младшая дочь, действительно очень молоденькая, косичек уже не носила. Она училась в каком-то техникуме... Воображение нашего учителя она поразила своим сходством с натурщицей Джорджоне. Это сходство – в сочетании с современной одеждой – скорее портило ее. Что действительно заслуживало восхищения – так это ее героическая стойкость в борьбе с безденежьем. Она была хозяйкой-подвижницей и умудрялась кормить семью на зыбкие заработки мужа. Причем кормить гораздо лучше, чем это делали супруги других художников, заставлявшие мужей халтурить – так сказать, разменивать свой талант на отбивные котлеты.

Итак, мы гордились ею – но не любили, когда она приходила. Не любили ее замечания, хотя чаще всего она ограничивалась одобрительным или изумленным кивком. Надо сказать, что супруг, демонстрируя наши достижения, не оставлял простора ее индивидуальному восприятию. По выражению его лица сразу было видно, чего он от нее ждет: "Вот сейчас ты восхитишься, сейчас снисходительно поддержишь начинающего, сейчас подметишь ту самую Божью искру, которую это юное дарование еще не в состоянии оценить в себе – но мы-то с тобой понимаем..."

Ах, этот взгляд из глаз в глаза, полное взаимопонимание мужа и жены... И мы, ученики, оказывающиеся вдруг где-то на обочине, не при деле... Нет, не должны соприкасаться эти две "общности"! Некая совершенно особого рода влюбленность между учителем и учениками просто необходима. Иначе процесс обучения не будет полноценным. Ученики знают: в том, что касается творчества, они для учителя ближе, чем жена. Но и жена знает: ученики приходят и уходят. И самый лучший ученик, гордость учителя, по прошествии короткого времени становится куда менее важен и интересен, чем ученик нынешний, даже самый заурядный.

Все это еще больше усложняется, если ученики – хорошенькие девушки... Такое может кончиться и драмой. Вот и мы с нашим целомудренным учителем разошлись не по хорошему. Больше нас всех ему нравилась моя подруга. Наш учитель говорил, что лицо ее выточено в мастерской Тутмеса. Несколько раз он пытался написать ее портрет, и все неудачно.

Нет! Сегодня мне уже не понять своего тогдашнего потрясения! Она прибежала ко мне с красными глазами... платочек смятый, совершенно мокрый. "Если папа узнает – он убьет его!" Как-то мне особенно жутко было от этого платочка. У меня даже озноб начался! Я не могла видеть ее плачущей... Как раз той ночью мне приснилось, что учитель сошел с ума. Люди окружили его и пытались поймать, а он бегал по кругу – совсем крошечный, как карлик! – скалил зубы и все норовил прорваться... (Эй, уж не подумал ли ты бог знает чего?).

Он писал очередной ее портрет. И снова не клеилось – как он ни сопел, как ни раздувал ноздри. И вдруг его осенило: "Можно, – говорит, – я вас поцелую? Мне кажется, это сдвинет работу с мертвой точки". (Что делать – богема!). Она согласилась, полагая, что имеется в виду отеческий поцелуй в щечку или в лобик. Вместо этого наш распалившийся сатири облизывал ей все лицо и даже расстегнул воротничок ее блузки. "Боже мой! Если бы ты видела! Если бы ты видела!" Я прекрасно представляла себе, как он стоял над ней в неуклюжей позе дантиста – маленький, лысенький, со своими детскими ресницами, торопливый, колючий... Больше всего ее поразило, что когда вскоре после этого вернулась

его жена, он держался как ни в чем не бывало. Она говорила, что картина получилась удачной, и это ее особенно злило. Не знаю – не видела: больше мы к нему не ходили.

Мы вспомнили эту историю много лет спустя, когда я гостила у нее во Франции. Как мы хохотали! Она хотела тут же ему позвонить. Адреса у меня не было, я знала только, что теперь он живет в Нью-Йорке. Фамилии и имени для справочной оказалось недостаточно. Мы были очень разочарованы. Она ведь уехала, не попрощавшись с ним. А я... Пару раз после ее отъезда он сам зашел ко мне. Несколько раз зазвал в гости. Наши отношения слегка портила моя подозрительность. Все вертелось в голове: не затем ли он зовет меня, чтобы выведать что-нибудь о моей подруге?

Позднее я поняла, что ему просто нужны были зрители. Как раз тогда его окончательно перестали выставлять. Он, бедный, попытался даже принять участие в общем балагане: написал огромную голову Карла Маркса – анфас. А слева – отрешенно вззирающий на друга профиль Энгельса, обрезанный по ухо рамой. На мой взгляд, это бугристое серо-синекрасное полотно производило довольно сильное впечатление. Хуже был черно-абрикосово-зеленый Ленин в дерзком ракурсе на фоне роденовского "Мыслителя". Обе картины выставком отклонил. Ему объявили, что неприемлема сама техника его письма. Помню, как он возмутился: "Изменить манеру? Отказаться от того, к чему я шел всю жизнь?!"

Эти картины он прятал в коридорчике за дверью и показал их только мне, зная мою способность найти что-нибудь хорошее в чем бы то ни было. Я посоветовала ему сохранить фактуру и цвет, но вместо Маркса и Энгельса изобразить кого-нибудь из своих друзей. Когда мы прощались перед его отъездом в Америку, он сказал, что послушался моего совета и написал архитектора Авдеева с женой...

Это было зимой... бесприютный такой ранний вечер... Четвертая или пятая по счету его мастерская. Совсем уж никуда не годная! Казалось, бедного учителя окончательно загнали в угол.

Впервые в жизни я видела такую длинную и крутую лестницу, да еще ведущую в подвал. Где-то на середине спуска у меня закружилась голова, и если бы я была одна, то несомненно скатилась бы вниз. Да одна я и не решилась бы сунуться в эту тускло освещенную пещеру. Мы постучали в дверь, грубую, шелудивую, выкрашенную в невысказанно мрачный зеленый цвет. Над ней тлела ржавая лампочка. Я тогда подумала, что приду сюда, если надумаю иллюстрировать "Преступление и наказание". Потом мы шли по коридорам. Пахло строительным мусором и старой штукатуркой. Девочка, которая открыла нам дверь, объяснила, что организация, занимающая соседний подвал, расширяется и пробивает стены.

В мастерской горела огромная двухсотваттная лампа, но от статуи, занимавшей чуть ли не все пространство комнаты, было темно. За корявым, только что выбитым проемом горел свой собственный особый свет. Там, среди напирających из глубины конторских шкафов и столов, две девочки рисовали голову Вольтера. "Вот, – сказал, глядя на них с гордостью, мой учитель. – Не побоялись, остались со мной до конца." Сейчас это трудно понять, но они действительно проявили смелость, "до конца" оставаясь с эмигрантом, с "предателем Родины".

Бедный, он с такой бурной благодарностью встречал каждого нового посетителя! Особенно он обрадовался одному. Явно не ожидал, что этот человек придет. Видно было, как он боится за него и хочет, чтобы тот поскорее ушел. Тот пробыл всего несколько минут и на прощанье прочел две строки Бернса: "Забудь ли старую любовь и дружбу юных дней..." Мой учитель ничего не мог ответить. Девочки ниже склонились над рисунками, и на Вольтеров закапали слезы.

Та, что впустила нас, набросала на казенной штукатурке автопортрет, манерно вытянутый и очень красивый. Очевидно, даже такие устойчивые явления, как вкус моего учителя, претерпевают изменения. Портрет ему понравился. Он сердился только, зачем она рисовала на стене, а не на нормальном листе бумаги. "Ну да ладно! – махнул он бесшабашно рукой. – Пусть остается ИМ!"

Надо сказать, что "им" и без того оставалось достаточно. Развороченные кипы рисунков, картины старые и новые, пыльные головки из тонированного гипса и – главное – его статуя, его симфония, дело всей жизни. Из разговоров я поняла, что кто-то надеется пристроить ее в каком-то институте. Ждали известного певца, для которого были отложены два натюрморта. Остальное раздавали подряд на память. Горы работ не уменьшались, а даже как будто росли. "Преодолевающая" выглядела так, будто взбесилась от тесноты. Казалось, это она-то и пробила проем в стене. И яркий, ворованный у конторы свет в открывшейся пустоте, где рисовали девочки, где обсуждали проблемы выезда никому не известные гости в пальто – все походило на жутковатый сон.

Своих знакомых, приобретенных в коридорах ОВИРа, мой учитель слегка стеснялся. Боялся, что проблемы их покажутся нам слишком низменными. Где достать фотоаппарат? пуховое одеяло? Что делать со старым "Беккером", который нельзя вывозить и невозможно продать? Как оторвать от сердца бабушкину вазу, которая оказалась государственной ценностью? "Она купила эту вазу за тридцать рублей, когда у нас началась дружба с китайцами. По-нынешнему – трешка! Просто издеваются над людьми!"

- Это сущая правда, – горячился мой учитель. – Взять хоть мои работы. Мы отобрали несколько, самые любимые... Так они назначили пошлину, от которой мы дар речи потеряли! Господи! Вы же их на выставки не берете, не покупаете – за что же такие деньги?! А потом решили: черт с ними! Выкупим хоть эти две, – он посмотрел на стоящие в углу натюрморты, как на больных детей. – И что же? Нам отказали! "Они, – говорят, – будут компрометировать за рубежом советское искусство." Каково! Но эти-то пристроены. А остальное... Вы же знаете, как оно бывает: сначала вынесут в коридор, потом в подъезд. Через неделю мои работы будут торчать из мусорных ящиков... Я бы ни за что не уехал! Это все сын. Он такой обидчивый! Чуть не так скажут... Тут еще в художественную школу его не приняли... А я... – он понизил смущенно голос, – я привык... Я не хочу ничего другого. Жена у меня умеет вести хозяйство буквально на копейки! Да я теперь и зарабатываю неплохо...

Он поправил воротник синего свитера, того самого, что был на нем в день нашего знакомства. Набросил на плечи серое пальтишко, дочищенное до желтоватых плешей.

- И, знаете, – продолжал он, когда мы вышли в пустой длинный коридор, – мне сначала было страшно. Заеду в Италию, а там – или сердце откажет, или почки... А потом думаю: Господи, Италия! Увидеть в подлиннике Тициана! И махнул рукой!

В полумраке пальтишко его возбужденно метнулось, будто крылья распутавшей силки птицы. Отчаянно блеснули круглые пугливые глаза...

Поднимаясь по несуразной лестнице, я несколько раз оглянулась. Он стоял и смотрел. Все это мне казалось похожим на похороны, где два покойника прощаются друг с другом.

Больше мне нечего рассказать о нем. Кстати, одна моя знакомая считает, что эта идея подходит скорее для мюзикла, чем для балета. Может быть, она права. Решай сам.

Итак, последнее действие. Все танцуют с газетами. Строят радужные планы на будущее... Рев грузовика за окном. Грохот на лестнице. Двое грузчиков вносят в комнату... ногу статуи. Исчезают. Возвращаются с подставкой и куском второй ноги. Затем следует голова с куском руки, отбитой по локоть... Мешок, в котором грохочут мелкие осколки. Торс. Он почти цел, на что грузчики обращают особое внимание Маэстро, как бы надеясь получить за это "магарыч". Не имея времени дожидаться, пока присутствующие выйдут из оцепенения, грузчики уходят.

Первой возвращается к жизни жена Маэстро. Начало ее танца – взрыв возмущения, затем отчаянные попытки поддержать мужа, помочь ему. Она поднимает с пола обломки статуи и прикладывает их друг к другу. Пытается привлечь к этому занятию Маэстро. Теперь ее тема в оркестре – те же "Валькирии", что и у мужа, но с несколько истеричным напором. Причем мелодия достаточно быстро и естественно преобразуется в позывные израильского радио. Зарождается новая тема – тема отъезда, пока что вызывающая у всех бурный протест.

Никак не сочетающийся со всем этим, в окне появляется респектабельный гражданин. Приложив ладонь козырьком к очкам, он разглядывает комнату.

В следующей картине – мастерская, по-прежнему ухоженная, но уже утратившая блеск возрождения. Статуя почти восстановлена, не хватает лишь головы и частично – рук. Эти детали лежат отдельно на подиуме. Беспорядочные белые линии незаделанных швов и отсутствие части деталей делают статую значительно интереснее. Маэстро как раз над этим и раздумывает.

Появляется мать. С чахлым завтраком в мисочке. У нее снова пустые карманы. В оркестре наряду с "еврейской безысходной" робко и вопросительно пробивается тема эмиграции – те же позывные Израиля. Вслед за старухой входит жена Маэстро с новорожденным младенцем на руках. Она по-прежнему юная, но уже несколько усталая и раздраженная. Это больше не восхищенное зеркало мужа и его великого творения. У нее своя тема. Весьма решительная, с резким израильским уклоном. В ее музыкальную тему органично вплетается воспроизводимый на каком-нибудь инструменте либо записанный на пленку рев младенца.

По реакции Маэстро ясно, что поведение жены его несколько озадачивает. Наконец, все разъясняется: жена вытаскивает из-под одеяльца, в которое замотан ребенок, пугающего вида конверт, а из конверта – много раз сложенную бумагу. В развернутом виде она оказывается размером с пеленку. Крупными буквами на ней написано: "ВЫЗОВ".

Происхождение "вызова" быстро разъясняется: как бы издали доносится жалобное соло на скрипке. Это "Элегия" Массне, которую когда-то исполняла Старшая Сестра, неудачливая невеста.

Старуха сильно испугана, Маэстро смущен, но быстро приходит в себя. Тема "Валькирий", разрастаясь, превращается в мелодию "Широка страна моя родная". Нет, он не оставит свою Родину, он не оставит свою статую. Он грудью защищает "Преодолевающую" от враждебных поползновений жены. Жена же безжалостно противопоставляет статуе себя и ребенка. Старуха робко переходит на сторону невестки. Сверх детского рева и неистового грома ударных и духовых прибавляется еще нечто до поры до времени не привлекавшее к себе внимания, но постепенно выделяющееся из общей воинственной гармонии... Становится ясно, что это стук молота и мощной электродрели. Таинственные трещины возникают на левой стене комнаты. Присутствующие замирают. Все звуки оркестра смолкают, даже рев младенца, будто и он прислушивается к стуку и скрежету. Трещины раздаются – и с последним грохотом вываливается прямоугольный кусок стены. В проеме стоит тот самый приятный мужчина в костюме. В руках у него большая "официальная" бумага с печатями. Он переступает через обломки стены, вручает бумагу Маэстро и тут же начинает давать указания возникшим в пробоине мрачным работягам. Действуют они с похвальной оперативностью: немедленно вносят в мастерскую конторский письменный стол. Выбитый в стене прямоугольник обшивают деревом. Старую дверь – тяжелую, резную – снимают с петель и, не мешкая, закладывают кирпичом нишу. Маэстро и его семье гостеприимно предлагают воспользоваться новым выходом – через открывшуюся взорам зрителей контору...

В следующей сцене вещи Маэстро с бульдозерной небрежностью сдвинуты направо. Маэстро и его жена отбирают любимые картины. Взвешивают их на безмене, подсчитывают килограммы. Возле дивана составляют то, что собираются взять с собой, под окном – то, что оставляют. К дивану – под музыку, выражающую надежду на будущее, к окну – безысходная печаль и вина. Иногда картины из-под окна переносят к дивану и наоборот. Откладывают лишнее... отрывают от сердца. Периодически Маэстро отключается от этих дел... замирает... придирчиво щурится на свое покидаемое детище. Кстати, оно уже в полном порядке: голова на месте, швы заделаны.

Слышно, как на улице тормозит автомобиль. Появляется КОМИССИЯ. Эти трое или четверо людей должны наводить на зрителей жуть. Они как бы материализовались из другой реальности и похожи на Змея Горыныча, головы которого непрерывно и тихо переговариваются друг с другом. Все окружающее для них не существует. Лишь изредка, по необходимости, они реагируют на Маэстро – прокаженного, предателя, а пожалуй, что и шпиона – от которого обязаны защитить интересы Родины. Для защиты Родины у КОМИССИИ имеется огромная, как уют, печать. Как только Маэстро представляет очередное свое полотно, Ответственный Секретарь извлекает печать из черного окованного портфеля, члены КОМИССИИ по очереди кивают, после чего он ставит на задней стороне холста огромный разборчивый штамп: "Государственная ценность" и возвращает печать в портфель. Каждый такой цикл оркестр сопровождает куплетом Гимна СССР. Играет негромко, с перерывами и неумолимо. Маэстро, охваченный паникой, берет наугад картину из тех, что готов был оставить. Но и ей на спину шлепают зловещий штамп. Он снова пытается вытащить нечто из свалки под окном, но заметив, что в ответ на его порыв уже раскрыт черный портфель, сдается. Комиссия с сухим торжеством удаляется.

Маэстро начинает танец, выражающий его глубокое отчаяние, но на отчаяние времени нет. Звуки оркестра постепенно перекрывает тиканье часов, оно становится все громче и быстрее. Комнату заполняют разные люди. Маэстро раздает им свои шедевры. Почти навязывает – еще! еще! Кто-то благодарен, кто-то недоумевают. Среди пришедших – тот самый заслуженный деятель с женой в мехах. Ему вручают лучшие работы, и он принимает их с усталым снисхождением. Растрепанные вороха рисунков прижимают к груди рыдающие ученицы. Бьет роковой час. Прощанье. Маэстро в последний раз танцует со своей статуей. В этом танце нет прежней гармонии. Теперь кажется, что "Преодолевающая" обиженно отбивается от своего создателя-изменника.

Жена пытается поддержать Маэстро. Она рисует ему светлое будущее, в котором он создаст множество разных статуй. Как бы вызванная ею, возникает и разрастается мелодия гимна Израиля, надрывающая душу трепетом радостной надежды. А в такт этой музыке, в золотом сиянии прожекторов, движутся спустившиеся на нитках с потолка небольшие скульптурки, очень похожие на "Преодолевающую". Растерянный, с пустыми руками, Маэстро покидает свое драгоценное прошлое.

Из конторы втаскивают еще один стол и пишущую машинку. Секретарша тут же начинает печатать. Хотят внести и шкаф, но поставить его некуда. В протяжном грохоте передвигаемой мебели потихоньку воскресает тема "Валькирий". Начальник приводит грузчиков. Они опутывают статую ремнями – и вдруг становится ясно, что вынести ее невозможно: новая дверь слишком маленькая, а старая заложена кирпичом. Разражается скандал. "Преодолевающая" стоит посреди комнаты, и кажется, что она сейчас все здесь разворотит.

За окном ноги дворника и метла. Дворник подметает разлетевшиеся по улице рисунки.

Занавес опускается. С разных концов галерки планируют в зал несколько самолетиков, свернутых из работ Маэстро.

Несколько набросков – раньше они висели на стенах мастерской – теперь, украшенные штампом "Государственная ценность", торчат из урн в фойе...